

благо» – таково авторское кредо и лейтмотив книги; ведь для настоящего понимания того, что есть деятельность спецслужб «во благо», необходимо знание и противоположного.

Воспоминания Л. Нечаева будут читаться с пристрастным увлечением ещё по одной причине. Им присущ сплав чистой фактической мемуаристики с раздумчивой лиричностью, «подсвечивание» повседневной технологии оперативной работы меткими житейскими и философскими наблюдениями. Сюжетный стержень книги прирастает многими ответвлениями, которые, тем не менее, не разрушают ни целостности общей картины, ни повествовательного ритма. Сухую служебную конкретику Л. Нечаев органично воплотил средствами и нервом словесного искусства. В результате его воспоминания представляют собой нетипичный мемуарный жанр – писательскую биографию контрразведчика с элементами социологического очерка. В последнем случае я имею в виду его исследовательские выкладки, рисующие ярко очерченный стратиграфический портрет тогдашнего Управления КГБ СССР по Калининской области, где в 1960-1970-е годы одновременно служили три поколения чекистов – «приблывавцы», «хрущёвский призыв» и молодёжь, не отягощённая зловещим прошлым эпохи массовых репрессий.

Фамилии большинства сотрудников, особенно если автор касается негативных моментов, заменены псевдонимами, и это не игра в конспирацию. Для писателя важно не ткнуть разоблачающим пальцем в конкретного работника, а открыть в совокупности его индивидуальных качеств нравственный и служебный типаж, собрание которых даст не чёрно-белую, но цветную фотографию кадрового состава одного из территориальных органов КГБ т.н. «застойного периода».

Не исключаю, что скептики из числа бывших коллег пожмут плечами: Нечаев-де был оперработником не по призванию, а в силу стечения обстоятельств, внутренний конфликт мешал ему относиться к чекистской работе должным образом – и ошибутся на все сто процентов: Леонид Евгеньевич выполнял свои многочисленные служебные обязанности добросовестно и высокопрофессионально. Иначе ему просто не поручили бы вести англо-американскую линию, традиционно приоритетную в отделе контрразведки, требующую большого непосредственного опыта работы против спецслужб противника.

Для многих подлинным откровением станет глава «Явка», где от и до разложена по полочкам альфа и омега, основа основ оперативной деятельности – встреча

оперработника с негласным помощником – агентом. Из собственного опыта знаю, насколько сложно держать себя с агентом без должного и проверенного на практике знания «великих частностей» этого крайне специфического общения. Нельзя, чтобы у агента возникало угнетающее чувство своей зависимости от спецслужбы или ощущение высокомерия, пренебрежения к нему со стороны сотрудника, ведущего беседу. «Явка для оперработника, – пишет А. Нечаев, – то же, что для артиста выход на сцену. Та же огромная подготовительная работа, та же обязательность и почти неотменяемость, то же точное знание роли, не исключаящее, впрочем, импровизации, то же волнение. Ты должен знать свою партитуру, что и как говорить». Эта глава книги – неоценимое учебное подспорье для начинающих сотрудников-агентуристов всех нынешних российских спецслужб.

Воспоминания Леонида Нечаева принесут бесспорную пользу тем, кто намеревается связать судьбу со службой в органах госбезопасности: одних укрепит в правильности избранного дела, а вот других (что более важно) предостережёт и удержит от будущих разочарований и ошибок. Только правда, как бы горька и необычна она ни была, способна помочь человеку не изменить себе в жизни. Ради этого взялся за мемуарное перо бывший контрразведчик, майор Леонид Нечаев.

**Александр БОЙНИКОВ,**

**член Союза писателей России,**

**кандидат филологических наук,**

**доцент Тверского госуниверситета,**

**подполковник запаса ФСБ России**

## КОГДА Я СЛУЖИЛ В КОНТРРАЗВЕДКЕ...

Нет ничего тайного, что не сделалось бы  
явным.

Л.: 8, 17

От автора

«Зачем раскрывать секреты государства и своих коллег?» – спросил некто, услышав о замысле этого повествования. «Во всех необходимых случаях, – успокоил я товарища, – имена и фамилии персонажей изменены. Это требование этики и, конечно же, конспирации: не исключено, например, что кто-нибудь из моих бывших коллег и поныне подвизается где-нибудь в резидентуре...» Вообще в моих мемуарах секретов раскрыто не более, чем, может быть, в «Очерках бурсы» Помяловского. И, к сожалению, менее всего раскрыт главный секрет: отчего

*На всех стихиях человек*

*Тиран, предатель или узник...*

Профессия разведчика, шпиона, агента – как хотите – и соответственно контрразведчика (это сиамские близнецы) принадлежит к числу древнейших. Реальность такова, что спецслужбы существовали, существуют и, увы, видимо, будут существовать, пока будет существовать человечество со всем его несовершенством. Прекраснодушны, но тщетны попытки отменить их; другое дело – предпринять попытку художественного исследования феномена, его человеческого, характерологического аспекта, уяснить, кому и чему служат тайные ведомства в тот или иной исторический период, лишний (или, скорее, далеко не лишний) раз очертить пределы достаточного и допустимого в их деятельности...

Книга эта отнюдь не беспристрастный документ и не «голый вымысел». В основу лёг мой опыт службы на офицерских оперативных должностях во втором (контрразведывательном) отделе областного управления Комитета государственной безопасности СССР. Правду факта я здесь представляю в сплаве с правдой моего субъективного взгляда.

...Не такой, лучшей должна была быть моя юность, моя жизнь и жизнь моих современников; но она была т а к о й. Печальное признание, но много ли найдётся тех, кто не подписался бы под ним?

...

**Властно играет в делах человеческих тайная сила.**

**Публий Овидий Назон.**

### **1. Подвал**

Мне было двадцать пять лет, и я был влюблён в персиянку Мехри. Тогда я готов был влюбиться – да и был, наверно, влюблён – в каждую встречную девушку; но об этой, с ночными глазами и фиолетовыми волосами, вздыхал в ту пору больше, чем о других.

Работал я тогда ассистентом кафедры русского языка медицинского института, преподавал студентам-иностранцам. Совсем недавно, словно вчера, пахнувший таёжной хвоей и морозом эшелон привёз нас, демобилизованных солдат, в столицу, и я, задохнувшись крепким, как спирт, январским воздухом Москвы, побежал с Ярославского вокзала на Ленинградский. Часа через полтора я уже был на станции Калинин. Белый от ночного мороза трамвай минут сорок вёз меня одного от вокзала до конца маршрута – военного городка Мигалова. Оказалось, я давно проехал свою остановку, так как не разобрал объявленное вагоновожатой название своей остановки «Суворовское училище». Оснащение старых трамваев, «дров», оставляло желать лучшего, в том числе и по части технической связи вагоновожатого с пассажирами; города же я не знал – родители переехали сюда из Кишинёва, пока я служил срочную в Крыму и в Уссурийском крае. На конечной вагоновожатая удивилась тому, что я не выхожу: думала, что солдатик мигаловский... «Мой слатенький!» – пожалела она меня, уже вконец залубеневшего, и погнала «дрова» назад. Всю дорогу я стоял – так было как будто теплее. Окна были непроцарапываемо и непродыхаемо белы, в толстом морозе; а за окнами простирался длинный, чуть ли не на час трамвайной езды, спящий утренним сном город. Город, встречи с которым я так ждал...

У Суворовского я спрыгнул и побежал на параллельную улицу Бебеля к дому номер три. Постучался в подвальное окно, что

ближе к углу, нырнул в коридор. Пахнуло теплом; и – долгожданные объятия, поцелуи, расспросы, мои возбуждённые ответы...

Я-то встречи с городом ждал; а город Калинин (бывшая Тверь), как выяснилось, по мне не скучал: семьдесят дней был я безработным, безрезультатно обивал пороги школ и самых разных учреждений и организаций. Противно было стучаться в двери, обитые дерматином, в котором стук безнадёжно утонул, гнусно было погружаться перед столом начальника в непременно глубокое, унижительное кресло, в котором превращаешься в совершенное ничтожество, и с каждым днём всё невыносимее было слышать убийственный ответ-штамп: «Не нужен». Не нужен! Молодой человек с дипломом учителя русского языка и литературы и английского языка, отслуживший в армии, здоровый, полный желания работать – не нужен! Незабываемые семьдесят дней. В гороно мне предложили оставить почтовую карточку с обратным адресом. Открытку мою вложили в картотеку, пообещав известить меня ею, как только объявится вакансия учителя или воспитателя. Ныне исполняется сорок лет с того дня – карточку-извещение я так и не получил. До сих пор не нужен... Я был специалистом-призраком: полтора года назад закончил в Молдавии педагогический институт, диплом же мне тогда не выдали – было крепостное право, по которому надлежало отработать по распределению, - я и работал учителем в молдавском селе Реча, но через месяц работы меня настигла пора осенней рекрутчины; и уже только после демобилизации, из Калинина я осмелился запросить свой диплом и нагрудный академический знак-ромбик и мне прислали их бандеролью. То есть я как бы перестал быть учителем-призраком – диплом и ромбик были при мне; на самом же деле я стал, может быть, чуть менее призраком, так как и с «корочками» продолжал оставаться никем. С каждым днём отчаяние моё усугублялось; я намерился даже искать работу за полярным кругом, на Диксоне, в Певеке, и уехал бы, если бы не удерживали родственные чувства, столь сильные в нашей семье. Ещё в армии я стал догадываться, что гуманитарий в нашем обществе – лишний человек, обречённый на малопонятное жалкое существование. Настал в чреде раскисших, уже мартовских

дней час, когда я догадался ещё и о том, что даже если я переквалифицируюсь, как было помышлял уже, и возьму в руки лопату, то и это не даст почти ничего, потому что места под солнцем давно и плотно заняты, из подвала мне не вылезти, из восьмидесятирублёвой зарплаты не выкарабкаться. И я, придя как-то ни с чем из какой-то ничтожной конторишки, из бюро, кажется, по экскурсиям и туризму, сел в подвале и подумал, что надо соглашаться на невесёлую должность инспектора исправительно-трудовых учреждений, каковую предложили мне в Управлении внутренних дел. И пошёл бы, потому что нужно было зарабатывать на хлеб. Нужно было наконец-то купить шапку (носил солдатскую), пальто (донашивал холодное, «целлофановое») и прочее. И вот в этот момент к подвалу подкатила чёрная («Волга»); в наши мрачные апартаменты изволил войти сам Гавриил Моисеевич, мой высокопоставленный, вельможный дядя. («Холодный»), то есть не кровный дядя, муж Валентины Андреевны, папиной сестры. Властное, довольно красивое лицо, чуть азиатские, умные тёмные глаза. Среднего роста, не весьма полный, он усвоил манеру передвигаться не спеша и слегка вразвалку, как ходят тучные люди. От богатых людей всегда пахнет чем-то особенным, дорогим; от дяди Гриши (так мы его звали) пахло, или мне так казалось, новыми полуботинками, коньяком и шоколадом. Он был начальником областного управления Комитета государственной безопасности СССР, полковником. Видит Бог, я не беспокоил дядю просьбами о трудоустройстве; все эти семьдесят дней он «с высоты орлиного полёта» наблюдал за моими трепыханьями, не вмешиваясь в моё единоборство со свинцовой действительностью. Имело место, впрочем, вмешательство, но по другому поводу. Чисто советский идиотизм: паспортный стол не прописывал меня на родительской площади. Ещё и в этом отношении я оставался призраком. Долго томили меня в тесном каталажном коридорчике, не один день; а после звонка сверху сам столоначальник выскочил в коридорчик, пригласил гражданина Нечаева, то бишь меня, извинился и прописал в три минуты...

– Что читаешь? – спросил дядя и, направившись прямо к столу, стал бесцеремонно и придирчиво перебирать мои книги. – Так,

Публий Овидий Назон. Пушкин. Бунин. Радищев... Да ты никак вольнодумец?

Определение было точное и для меня лестное: дядя словно орден с размаху мне на грудь нацепил. «Вольнодумец!» – какая честь, какая похвала... С дядиной же точки зрения, как я с удивлением почувствовал, это было крамолой. Он цепко просматривал книги, и затянувшееся молчание его было тяжёлым.

– Всё стихи пишешь? – спросил, наконец, он.

– Пишу.

Это тоже, как я догадывался, было плохо, опасно. То же в сущности вольнодумство.

– Почитал бы что-нибудь своё, – смягчился дядя.

Он, конечно, по-жаверовски честно и преданно стерёг интересы режима; в то же время он думал и о том, какой опасности при этом режиме подвергаю себя я, неопытный юноша, романтик, идеалист, неконформист, воспитанный на традициях дореволюционной русской литературы (в школе и в институте нас усиленно учили восхвалять вольнодумство, но только то, которое против самодержавия, радищевское, например; вольнодумство же, перенесённое в эпоху социализма, становилось, естественно, вольнодумством против социализма, а социализм этого не любил); и, наконец, как ни парадоксально, дядя, как мне казалось, уважал моё вольнодумство и трогательно благоволил к моим стихотворческим усилиям. Помню, в Кишинёве, можно сказать, за руку водил меня с первыми моими опытами к поэту; а однажды прислал пособие по практике стихосложения...

– А можно не своё? – ответил я на дядину просьбу почитать что-нибудь.

– Давай не своё, – махнул он рукой, садясь на диван; и я прочёл только что выученное наизусть:

*Пьяной горечью Фалерна  
Чашу мне наполни, мальчик, –  
Так Постумия велела,  
Председательница оргий;  
Ты же прочь, речная влага,  
И струей, вину враждебной,*

Строгих постников довольствуй –  
Чистый нам любезен Бахус!

– Гм. Стало быть, ещё в Древнем Риме существовали председатели? – улыбнулся дядя. Улыбка, обычно величественно-недоверчивая, сейчас была величественно-снисходительной.

Я пожал плечами: да, мол.

В этот визит он предложил мне временную должность почасовика на кафедре русского языка в медицинском институте. Семьдесят дней взираю на гордо тонувшего поэта, не вопившего о помощи; а теперь вот сам приехал... Наверно, родители попросили.

Словом, как бы то ни было, – помог. Так я стал преподавать русский немцам-демократам, неграм, арабам, корейцам, афганцам и прочим «гондурасам». Не было, как говорится, ни гроша, да вдруг алтын. Той же весной я чуть не сделал предложение угандийке Айрин Гимугу. Мне нравилось её экваториальной черноты личико, по-монгольски плосковатое, с весьма аккуратными чертами. Это был маленький, всегда приветливый подросток, в меру сдержанный и в меру же непосредственный, с умными глазками, с короткой мальчишеской стрижкой. Номера упражнений, задаваемых на дом, она записывала на палевой своей ладошке. Школьная привычка. «Айрин!» – укоризненно говорил я, и прелестное создание ослепляло меня улыбкой, которую я так любил. Я был в достаточной мере поэтом, чтобы предложить ей руку и сердце. Я, русский, то бишь всечеловек. Но ... пожалел маму: в подвале, сплошь закрашенном масляной краской, её особенно зло мучила гипертония, и мы старались беречь маму от лишних переживаний.

Улыбка же у Айрин была подобна снегам Килиманджаро...

Словом, дядя устроил меня на интересную и экзотическую работу, и я стал получать алтын. «Алтын», впрочем, был ни чем иным, как восемьдесятю рублями в месяц. Хватало на спички, на мыло, на трамвай... Поэтому соловей, попорхав сначала у килиманджарской розы, а затем вокруг куста персидской сирени, то бишь вокруг Мехри Джафар Ордубади, сделал крутой вираж и стал в сторонке предаваться неутешительным мыслям. «Я не

участвую в пирах не потому, что я аскет», – так, кажется, говорил великий Джами, а потому – продолжаю уже я – что пир жизни, пир счастья был, похоже, не для меня. Куда я приведу «четырёхнадцатидневную луну», Мехри, – в царство Аида под домом на улице Бебеля? Во что я буду оправлять этот лал, если сам до конца зимы донашивал солдатскую шапку и только с моим вступлением в почти дипломатическую должность двоюродная сестра Светлана, дочь дяди Гриши и тётки Вали, отдала мне свою старую шоколадного цвета кроличью шапку? Подземелье, восемьдесят четыре «чистыми», единственный костюм, купленный ещё до армии в Кишинёве за пятьдесят рублей... И я начитывал литературу, писал рефераты и трактаты и рассылал запросы с надеждой поступить в аспирантуру. Ректор поддерживал мои благие научные устремления, но предупреждал, что, работая в институте, квартиру я не получу никогда. Гарантия была твёрдая, так как даже доценты почитали за благо получить комнатку в общежитии.

Раз в неделю утром у наших подвальных окон останавливался небольшой, всегда чистенький кофейного цвета автобус, ПАЗ, и подбирал офицеров, человек семь. Они были в ладных тёплых бушлатах, в новеньких шапках, в голубоватом меху которых утопали кокарды, с финскими лыжами в чехлах. Упитанные, уверенные в себе, весёлые, они знали, что ПАЗ подадут вовремя, как вовремя будет выдан сытный оклад, обмундирование, непременно выхожена будет очередная звёздочка и должность и неминуемо будет предоставлена квартира. Сами одеты-обуты пестуном – государством, а на оклад можно одевать-обувать супружницу, деток, потягивать коньячок и есть апельсины. Мне же, большому любителю лыж, с детства занимавшемуся в горах Прикарпатья слаломом, оставалось только смотреть из своей норы на счастливиц и мечтать о том невероятном времени, когда я смогу выжать из полунисенской зарплаты рублей пятнадцать на непружинящие, плоскостопые низкосортные лыжи с детским мягким креплением и с тяжёлыми и ломкими деревянными палками.

Однажды некая девушка, на этот раз не экзотическая, русская, дочь военного прокурора, служившего в своё время за

границей, то есть весьма обеспеченная, побывав у нас в подвале (сестра моя Аллочка, конечно же, привела, так как обожала знакомить меня с девушками), всерьёз заинтересовалась моей персоной и пригласила меня к себе. Квартира у них была – чаша полная. Ковры от потолка до пола; хрусталь... Барышня, довольно милая, с молочно-белой кожей, пухленькая, сероглазенькая, курносенькая, легла на софу и ткнула ножкой в капроне дверцу бара: дверца поворотилась к нам «изадом» и оказалась полкой, уставленной коньяками, винами и коробками невиданных конфет. От Аллы мне уже было известно, что помимо этого пышного розана на софе, квартиры, ковров, хрустала, бара с подсветкой мне уже как бы принадлежала конкретная сумма на неминуемое приобретение автомашины («Жигули»), если я... «Если», – как говорили умные лаконяне. Я не стал пить коньяк, а предложил прогуляться. Нужно было честно выбраться из чужой квартиры... На следующий день Алла пришла от неё и рассказала об истерике: розан зло плакал, выкидывал из гардероба платья и произносил при этом: «Вот!.. Вот!.. Вот!.. У меня одних платьев пятьдесят штук, а он...»)

Молочно-белая девушка была подлинно хороша; таких крестьяне любовно именуют «белой лебедью»; но я не обнаружил в себе чувства, а следовал я только чувству.

Нет, выбраться из-под земли путём женитьбы по расчёту было не для меня.

Другая девушка, Наташа, тоже подосланная сестрицей Аллочкой, вроде и не против была встречаться со мной, несмотря на одинаковый наш рост, но обронила однажды с безнадежным сочувствием: «Тебе бы пёрышки другие...» То есть не целлофановое пальто. А в случае развития наших отношений и завершения их женитьбой предстояло одевать в «пёрышки» ещё и её... Не носить же ей было бы набедренную повязку из длинного стихотворения на английском языке, которое я сочинил и посвятил ей!

O Natali, you are "the it"!..

А мне так хотелось быть состоятельным, сильным, независимым. Я знал, что на хороших лыжах обошёл бы тех розовощёких офицеров на лыжной гонке; что преуспел бы в